

ТРЕТИЙ РИМ

(1526—1552)

ОТ АВТОРА

Не только в русской, но и во всей нелегendarной истории человечества образ царя Иоанна Грозного является одним из самых непонятных, разнотолкуемых.

В повести моей я попытался собрать все, что по древним летописям более или менее достоверно известно об этом государе, и пересказал в цельном виде, ни убавляя, ни прибавляя ничего существенно важного. Лишь кое-где, стараясь выяснить связь между событиями, воссоздавал и рисовал я, не отмеченные в древних летописях, звенья и картины, как сам их видел в своем воображении.

Если простым моим, непритязательным пересказом будут хотя немного выяснены личность и деяния жестокого, грозного, несомненно, но и всю свою жизнь несчастного правителя, я сочту, что выполнил хотя бы отчасти мудреную, трудную задачу, подсказанную мне ходом жизни и волею случая, того самого случая, который правит нами больше, чем мы желали бы допустить.

Все почти, кто не особенно подробно знакомился с историческим обликом царя Ивана, представляют его себе жестоким по природе, тираном, больным, безумным и бесчеловечным. Даже все доброе, чем отмечена известная «светлая пора» его царствования, общее мнение приписывает это заслугам Сильвестра и Адашева. Врожденное людям стремление к прекрасному присвоило помянутым двум деятелям сияние безукоризненных правителей народных, умевших управлять даже таким «нечеловеком», как Иван IV.

Между тем на деле — не совсем так. Случайно попала мне на глаза выборка из небольшой рукописной хроники, гласящая, что ревнивый к

власти, самодержец до мозга костей, царь Иван поставил временно в цари крещеного татарского князька, Саина Бек-Булатовича, а сам почти три года жил на положении частного человека, «князя Ивана», и писал «челобитные» этому же своему ставленнику, царьку Симеону, подписывая их: «Твой раб Ивашка с детишками Иванцом и Федькой...»

Событие меня поразило. Я стал его разрабатывать, желая нарисовать этот непонятный и малоизвестный случай из бурного царения Ивана IV. Но чем глубже я вникал в древние рукописи, чем больше перечитывал обширную историческую литературу, созданную вокруг этого имени,— тем больше новых, неожиданных выводов возникало и скоплялось в моем уме. В хрониках говорится, что годам к тринадцати в Иване развилась особенная жестокость: он мучил животных, сбрасывал их с высокого крыльца, из теремов, загонял лошадей... К тому же времени относится пора особенного угнетения, испытанного ребенком от Шуйских и других бояр. В это время сослан его наперсник Ф.Воронцов и многие другие. Письма самого Ивана свидетельствуют, как тяжело ему было сознавать в это время свое унижение.

Детство Ивана... Мы его почти не знаем, разве с внешней стороны. Он губил животных и даже людей, будучи еще ребенком. Почему? Как он рос? Как создавался его характер? Был ли он зверем от природы? Любил ли он искренно кого-нибудь когда-нибудь? Почему только известную кучку бояр, определенное число гнезд, родов княжеских и боярских «извел» Иван[1]? Что породило в нем слепую ненависть к Пскову и Новгороду, к своим русским городам, когда Иван умел быть великодушным и с татарами, и с ливонскими врагами? Откуда и как явились Адашев и Сильвестр? Почему они пали?.. Эти и ряд других вопросов зародились во мне. Посильные ответы я постарался дать в своей книге. Насколько я прав, решит, конечно, суд критики и голос публики, который, как «глас народа» в его лучшем смысле, есть высший судья[2].

ЛЕВ ЖДАНОВ

Часть I

ДЕТСТВО ЦАРЯ

(ВМЕСТО ПРОЛОГА)

Год от сотворения мира 7034 (1526)

Чудный осенний день почти на исходе. С ясного, прозрачно-синего неба ветер согнал последнюю тучку из их несметного полчища, которое чуть не две недели скрывало сияющий лик солнца от земли. И теперь лучи его, ласковые, нежащие, не жгут, как летом, но все пронизывают: и поределую листву дремучих лесов, которые с северо-запада подбежали почти к самым стенам дивно обновленного стольного, древнего града Москвы, и ветви отдельных старых деревьев, которые кудрявятся в больших тенистых садах. А сады с огородами обступают отовсюду обширные боярские жилища в самом Кремле и дома посадских да торговых людей. Посады эти московские широкой, темной, неправильной полосой деревянных строений обежали, словно подковой обогнули Кремль и легли вокруг твердыни, поднимающей свои теремные и бойничные башни и золоченые главы церквей на крутом прибрежном холме. Золотыми, тонкими стрелами сыплются с неба лучи, пронизывают сквозные бойницы башен крепостных и узкие оконца церковных куполов, осеняющих новые, белокаменные храмы Господни. То загорится блик света на кистях красной, спелой рябины, что перекинулись, свесились через садовый забор, над грязной колеей, в переулочке узком, и без ветерка колыхаются, ждут лишь первых заморозков, чтобы «дойти»... То скользнет лучом своим солнце и отразится в широкой подорожной луже, блестящей и гладкой, как зеркало, не взбаламученной сейчас ногами прохожих или рябью от ветерка... И загорается зеркальная

лужа; а зайчики от нее играют на соседней, на темной и мшистой стене и на темных дуплистых стволах. Это — липы столетние, как часовые, стоят в соседнем саду за надежным тыном, за палями острыми.

Даже в мрачные извороты и закоулки торговых рядов ухитряются заглянуть осенние ласковые, косые лучи в этот предвечерний час...

И среди затихающего торгового гомона и говора, среди суеты человеческой, которая так и кипит всегда в проходах между ларями, лавками и палатками, чем-то чистым и неземным отблескивают заблудившиеся золотистые нити лучей, скользящие по выступам бревенчатыхстроек, по щелистым рядам дощатых балаганов.

Усталые, мрачные или озлобленные лица людей, на которые падают эти лучи, сразу светлеют, словно проясняются внутренним светом. Морщины сглаживаются, брови распрямляются; невольно перестают хмуриться и торжники, и смерды, и господа — всякого звания люди, и с улыбкой произносят:

— Эка... и денек же нынче выдался... краше летнего!

И, словно воспрянув силой и духом, живее берется каждый за ту же работу, которую вяло выполнял за минуту перед тем, лишь бы довершить обычный дневной свой урок.

Особенно щедро осыпан лучами, обогрет теплом высокий Детинец московский.

Радостно сияют золотые главы церквей... Высокие звонницы облиты солнцем...

И печально, мерно несется с этих звонниц какой-то необычайный, словно похоронный перезвон.

Заслыша редкие, протяжные удары тяжело гудящих набольших колоколов, москвичи кто просто осеняет себя широким крестом и шепчет:

— Помилуй и спаси, Господи... защити достояние Твое!

Другие же обращаются к знакомым и незнакомым с тревожным вопросом:

— Что прилучилось? Али негаданно помер кто на княжом дворе?..

— Помер?.. Не помер, а все едино; даже хуже... Постриг великой княгине дают... Ай не слышал?.. Не тутошний?..

— Нё! Слышать-то слышал... Да все не верилось?..— отвечает вопрошающий и молча, тоже осеняв себя крестом, проходит дальше.

Во всех кремлевских церквах — соборных и монастырских —

началось служение. В набегающих сумерках под сводами храмов причудливо сверкают бледные призрачные сейчас огни паникадил и лампад и свечей у киотов... Где в окна сильнее ударяет свет погасающего дня, там огни, зажженные руками людскими, кажутся совершенно умирающими, бесцветными, беспламенными. Только в более темных углах, в приделах, за колоннами, багровое пламя светильен, сожигающих масло и воск, бросает трепетные полосы света и теней на все вокруг: на золотое и серебряное сияние венчиков у икон, на дорогие самоцветы и молочно-белую низь жемчуга, обрамляющего темные лики вместо окладов.

Душно, мрачно... и полутьма царит в обширной горнице, где совершается пострижение в инокини великой княгини Соломонии, двадцать долгих лет безупречно и мирно прожившей с великим князем Василием Ивановичем всея Руси, а ныне — разведенной с супругом, так как не дал им Бог наследников — детей.

С тяжелым сердцем сидит князь у себя в горнице... слушает звон похоронный, что мерно несется над Москвой, сам думает:

— Не мертвую хоронят, живую... Стольколетнюю любовь мою... Как мирно-то прожили... Кроткая ведь, тихая была... Терпела все... Все прощала... Чем виновата, что Бог ее посетил бесплодием?.. Да ведь и царство мое не виновато тоже, надо сказать?.. Отцы и деды и я сам — на то ли кровь свою и ближних, и вражескую кровь ручьями лили, ночей не спали, зной, стужу выносили, чтобы все теперь братьям али племянникам отдавать? Нет, не будет того!.. Ино братья и своих уделов не умеют устроить! Где же им на Москве быть?..

И смахивает князь невольные слезы, набегающие ему на глаза.

Внутренним взором, минуя тесные, кривые переходы и лесенки теремные, проникает государь в большой, низкий покой с окнами в глубоких амбразурах, похожих на бойницы...

Там идет обряд пострижения.

Много здесь народа столпилось, все ближние люди и бояре Васильевы в полном наряде.

Тут и престарелый Иван Кубенский, князь, свояк государев, женатый на двоюродной сестре Василия; и Воронцов, тезка княжой, Василий Федорович, чей предок, Теодор Воронеж — двести лет тому назад приехал от Варяжской земли на Русь... И доселе еще по обличью видно, что не славянин по роду князь Иван: темноволосый, быстрый,

сухой весь...

И брат его здесь, Данилка. Князь Дорогобужский с ними же... И Федор, князь Овчина, роду Телепневых-Оболенских. Пониже старика местом, красуется дородный, статный, пригожий, кровь с молоком, родной сын его, юный княжич Иван Федорович. Этого особенно любит великий князь Василий. Много помогал он государю в сближении с намеченной новой супругой, красавицей литвинкой, Еленой Глинской.

Вельможный князь Бельский, Иван, ближний и родич и слуга царский, стоит чуть поодаль от всех. Видимо, тяжело князю глядеть на все, что сейчас происходит перед глазами. Но кроткий и справедливый боярин чтит волю цареву и пришел, поневоле глядит. Пальцы порою готовы ухватиться за рукоять широкого боевого меча, но тут же опомнится молодой, горячий воин и вспомнит, что не в доспехах, а в боярском наряде, безоружным явился он на эту печальную церемонию.

Нет среди этих вельмож одного из главнейших князя Курбского, Семена.

Не склонился князь безмолвно перед решением государя и приспешников его; стал настойчиво уговаривать Василия: не гнать от себя кроткой, святой женщины, ничем не повинной перед мужем.

И поплатился вечным изгнанием за такое свое правдолюбие.

Хуже еще досталось Вассиану, иноку Симонова монастыря, родом ставшему от Гедиминовичей, а из семьи он Патрикеевых.

В миру звался инок князем Василием Ивановичем, по прозванию — Косой. Пылкий, прямой, истый державный Гедиминович по крови, первую опалу снес он еще от Ивана III в ту пору, когда в 1449 году примкнул к сторонникам юного внука великокняжеского, Дмитрия, грудью стал против новшеств гречанки Софьи Палеолог, вступился за старый наследственный порядок, за права дружины княжеской, которым грозил урон.

Желая на ближних явить пример строгости, Иван III и Василия Косого, и отца его, Ивана Патрикеева Большого, велел постричь.

Первый в совете и на войне Василий захотел одним из первых остаться и при своем невольном монашестве: принял схиму и удалился от мира; в глухой «пустыни» заперся старцем-молчальником на много лет. Оскорбленная, гордая душа решила порвать всякое общение с греховным миром, где не дали простору смелым порывам ее.

Прошло много лет. Воцарился все-таки Василий Иванович.

Венчанный княжич, Дмитрий Углицкий был заточен, долго томился в темнице, а потом, по приказу бабки, и удушен там.

Воцарившийся на Москве великий князь Василий Иванович, сведав про святое житие родича своего Вассиана, забыл старую вражду, вызвал его в Москву и поместил в Симоновом монастыре, часто прибегая к нему за благословением и советом. Не изменился и в иноческой мантии прямой характер Вассиана. Он сурово восстал теперь против развода Василия с Соломонией. И сослал его вторично московский князь, но не в любимую стариком «матерь-пустыню», а в Волоколамский Иосифов монастырь, отличавшийся суровым, тяжким уставом жизни и угрюмостью своих монахов. Покорные приказу великого князя отцы-иосифляне сумели сократить жизнь строптивного, непреклонного старца.

Был сослан и заточен и другой сильный заступник за Соломонию Афонского Вартапедова монастыря монах Максим, прозвищем Грек, родом из Арты, города в Албании.

Приблизился он к князю и прославился переводом многих греческих священных книг на славянский язык. Озлобленный его супротивными речами по поводу развода князь распорядился нарядить суд над бывшим любимцем-толковником. А судьями назначил непримиримых врагов Максима: тех же монахов-иосифлян и присных им.

Обвинителем был сам Даниил, митрополит, недовольный Максимом за ту власть, которую присвоил себе при дворце ученый монах. Даниила поддержали, во-первых: Вассиан, Топорков прозваньем, епископ коломенский, муж злобный, тоже потом попавший в ссылку за многие проступки. Затем — Иона, чудовский архимандрит. И сослали Максима Грека в Тверской Отрочь монастырь, на строгое послушание, так как он был признан еретиком и «блазнем», портившим, а не переводившим правильно священные книги церковные.

И многих других также разослал или заточил Василий, кто только решился стать на сторону постригаемой, разведенной жены.

Когда в обширный, слабо освещенный, низкий покой ввели осунувшуюся, постарелую, но все еще величественную и прекрасную, несмотря на годы и жгучие страдания, княгиню Соломонию, урожденную Сабурову, она почувствовала, что стоит одинокой среди этой тесно сплоченной, сверкающей парчовыми нарядами толпы бояр и служилых людей.

А в переднем углу, окруженный черным и белым духовенством, в

богатой ризе и клобуке, с пастырским посохом в руке стоит и он, Даниил, ее главный недруг. Не согласись он — князь, может быть, и отложил бы свой замысел... И полным ненависти взглядом окинула владыку несчастная женщина, поруганная жена, развенчанная великая княгиня.

Сейчас же с той же лютой ненавистью взор ее перешел и на другое, не менее ей враждебное лицо. Впереди всех, важно поглаживая бороду, стоит главный приспешник князя, холоп и любимец его, боярин, «советник» Иван Шигоня.

Сам не очень чтобы знатных родов, он опередил многих и многих, посановитей и родовитей себя, только потому, что умел читать в душе повелителя, понимать мысли его и творить по воле Василия все, как тому хотелось.

Теперь ведь тяжкие времена пришли для боярства и дружины княжеской. Не по-прежнему московские князья раду свою ближнюю честят и слушают. Все больше по своей державной воле творят. Такие советы к сердцу берут, какие им самим по мысли. И хмурится старое боярство. Порой и заговоры заводит. Да не везет что-то им! Глядишь, или как вот Берсень Беклемишеву при Иване III, языки у них режут или последние маёнтки да вотчины отбирают в казну, а самих чуть не на посад в тяглые люди ссаживают.

Горькие времена настали для старого боярства. А вот толстый, пузатый Шигоня, поглаживая свою окладистую бороду, стоит поперед всех и величается, вошедшей великой княгине еле поклон отдает!

Как же: ведь вместо князя он наряжен нынче! При постриге стоять, порядок вести и князю потом про все доложить он обязан.

Медленно Соломония взошла, скорее возведена двумя монахинями, поддерживающими ее, на небольшой, черным сукном перекрытый помост, устроенный среди кельи.

Начался обряд... отпевание человека заживо. «Ныне отпускаеши с миром душу рабы Твоея...» Как печально звучат напевы!

Княгиню не спрашивают ни о чем, как привычно в таких случаях. За нее отвечают, за нее молитвы творят, за нее действуют, пригибая когда надо непокорную шею княгини для поклона...

Она, бледная как мертвец, даже сопротивляться перестала, как это было до сих пор. Широко раскрыты ее черные и без того большие, прекрасные глаза; как затравленная серна, озирается она с тоскою

кругом и ждет: не явится ли откуда-нибудь спасения, не пошлет ли Бог чуда? Нет! Ярко озарены огнями лики темных икон... Кротко глядит Спаситель; скорбно улыбается Мать Его... Сам Саваоф, грозный и всемогущий, простер длани и благословляет мир, «сияя на злыя и на благия» всеми солнцами своими. В небесах — правда, и мир, и покой! Но здесь, на земле, нет ей помощи, ни от кого нет спасения. Он, даже он, в кого княгиня так верила, кого любила, несмотря на все измены, на болезни и на лютость нрава порой,— он, Василий... князь... он сам жену свою оторвал от себя. И место ее займет другая... хитрая литвинка!..

Кровь татарских князей, кровь предка Соломонии, мурзы Четала, опять вспыхнула в жилах. Бледные до сих пор щеки сразу побагровели. Мрачно горевшие, заплаканные глаза сразу засверкали, как раскаленные угли.

Грудь, которая перед этим была словно камнем тяжелым сдавлена, опять ходуном заходила, заволновалась. Какой-то клубок подбежал, подкатился из глубины — к самому горлу. Давит княгиню, больно ей.

Красные от жары и напряженного состояния бояре, стоявшие поближе, зашептались между собой:

— Гляди, никак на нее не находит. Пожалуй, не удастся по чину и обряда доправить?!

А уже на нее собираются возлагать облачение иноческое.

Вот вместе с епископом Давидом к Соломонии приблизился Даниил.

Почувствовав его дыхание почти на своем лице, Соломония вздрогнула, невнятно застонала.

— Смирися, жено! Не твори соблазну! — раздается ненавистный властный голос.

Приняв ножницы из рук иерея, епископ Давид коснулся распущенных волос княгини.

Та громче застонала и забилась в истерических рыданиях.

Две сильные монахини, выбранные и приставленные здесь нарочно, поддерживают под руки несчастную; но теперь еле-еле могут удержать Соломонию, так порывисто и сильно рвется и трепещет она всем телом у них в руках.

— Нет... нет... не... хочу... не изволю сама... на это!..— с визгом вырывается из груди у Соломонии, губы которой до сих пор словно судорогой были сжаты.

Но ее не слушают.

Клир старается громким пением покрыть жалобы, крики и плач женщины, а Давид быстро и сильно смыкает концы ножниц над волнистыми прядями ее волос, которые черным блестящим каскадом падают вниз.

— Ну, ладно. Чего не так, потом достригут! — произносит он, кое-как исполнив обычный обряд пострижения.

Подана мантия, кукуль...

Стоит надеть его — и все кончено! Мир земной совсем и навсегда закрыт для бывшей великой княгини. За что? Она ли виновата, что Бог не дал наследника Василию?

А Давид в это время совсем вплотную подошел...

— Возьми кукуль сей и возложи на тя, жено, аки подобает по велению святых отец...

И он уж сам готов был возложить вместо вечного савана монашеский кукуль на княгиню.

Но тут дикое безумие окончательно овладело ею.

Сделав движение, словно желает склониться, она сразу вырвалась у монахинь, державших ее, вскрикнула, взметнула кукуль кверху, бросила его на землю и стала топтать ногами, истерично выкликая хриплым, надорванным голосом:

— Сама... на себя? Живой в могилу? Не лягу!.. Слушайте, люди! Христиане, слушайте!.. Слуги князя и мои! Не по воле сан принимаю... Не охотою, но силою, вопреки закону Божескому и человеческому постригаема. И вот... вот... вот как топчу я кукуль сей... и насильников моих топчу... Вот... вот!..

И вместе с дикими криками пена слетала с побелевших уст у несчастной.

— Что делаешь, безумная! — устремившись к Соломонии, грозно прикрикнул Шигоня, когда увидел, что Давид, видимо оробев, отступил от иступленной женщины.

Сильно схвативши за локоть, он пригнул ее к земле, словно принуждая поднять брошенный кукуль.

— Нет, не возьму!.. Не хочу... Прочь с ним вместе, дьявол, слуга дьявола... Плюю на тебя...

И она брызнула ему пеной прямо в лицо.

Шигоня, побагровев от гнева, поднял было свой тяжелый посох

боярский, но вовремя спохватился, заметив, как двинулись вперед и Бельский князь, и Кубенский Иван, словно решили защитить несчастную от опасного удара.

Быстро оглядевшись, боярин выхватил из-за ближайшей божницы пук лозы вербной, с недели Вайй здесь оставленный, и, нанося сильные удары по обнаженным рукам и плечам Соломонии, закричал:

— Смирися! Войди в себя, богохульная жено!.. Что ты творишь, подумай?!

Все окаменели на миг.

От неслыханной обиды и сама исступленная женщина мгновенно пришла в себя.

Поднялась, трепеща мелкой дрожью, до крови стиснула зубами край своей губы, изнемогая не столько от телесной боли, сколько от позора и негодования.

Прежде чем она успела сказать что-нибудь грубому палачу, Шигоня, желая по возможности загладить дурную сторону жестокого, необдуманного поступка, угрюмо произнес:

— Как смеешь ты, жено, противиться воле государя, великого князя нашего? Дерзаешь ли не исполнять приказаний его?

— А ты как смеешь, ты — холоп, бить меня, свою княгиню? — негодующим, твердым голосом только и спросила Соломония.

Но от этих простых слов, от величавой осанки, которую безотчетно приняла несчастная, от искаженного скорбью лица ее повеяло чем-то таким необычным и грозным, что мороз пробежал у всех по телу.

— Именем великого князя наказую тебя за непокорство, а не своей рукою и волею! — нашелся ответить надменный боярин и быстро отступил, давая знак продолжать обряд.

Явное замешательство воцарилось вокруг.

— Можно ли так? Не донести ли великому князю? — робко, неуверенно зашептали иные из присутствующих.

— В монастырь али в изгой (в изгнанье) захотелось? — отвечали им товарищи.— Дома жить надоело?

Смолк ропот. Обряд пошел своим чередом.

Но Соломония, улучив эту минуту замешательства и тишины, ровно, негромко, с потрясающим, роковым каким-то спокойствием, обведя всех глазами, проговорила:

— Стоите?.. Молчите?.. Рабы лукавые, неверные! Нет ли ножей под

полою кафтанов, чтобы тут же и зарезать, как овцу бессловесную, княгиню свою былую, «милостивую». Так ведь вы прозывали меня! Я ль не заступалась за вас? От скольких от вас государев гнев отвела, от опалы избавила; милостей добыла... И никто не вступится?! Да? Будьте же все вы прокляты!.. Богу в жертву против воли приносите меня... Нет, не Богу... В жертву княжой прихоти! И обрек вас Господь. Человекоугодники, не слуги вы прямые княжеские... И горе вам! Бог помстит за меня. Вижу гибель вашу!.. Не пурпур и золото — кровь ваша и язвы и лохмотья покроют тела ваши, аки тела слуг нерадивых, выпустивших на волю дьявола!.. Жены ваши и дочери — поруганы, пострижены насильно, как и я!.. Дети ваши, нерожденные, изгублены на лоне материнском. Не терема высокие — виселицы построятся для вас, и вороны черные обовьют боярские головы взамен шапок горлатных... Вот мое слово последнее... мое заклятие на вас! На детей ваших! Великое самое преступил князь великий: совесть теперь свою преступил ради стяжания царского. Вас ли пощадит?! Помните же и трепещите, ехидны, змеи-предатели. А ему скажите...

Но тут и Шигоня, и Потата, писец ближний и «печатник» княжой, и Рак, Феодорик, советник его, онемевшие сперва, когда раздалась мерная, зловещая речь княгини, произносимая каким-то необычным, даже несвойственным ей, металлически-звонким голосом,— теперь все эти вельможи пришли в себя.

Дан был знак. Громко запел клир. Надрывались басы... дисканты краснели от усилий подняться на крайнюю, доступную им высоту... загудели чтецы... монахи, священники стали подпевать тоже...

А среди этого чтения, и напевов, и рокота прорезался зловещий голос Соломонии, сулившей болезни, горе и беды бывшему супругу и всему грядущему роду его.

Но голос ее стал слабеть... Она зашаталась, сразу опять помертвела... И если бы не поддерживали ее теперь две монахини, так и рухнула бы, потеряв последнее сознание.

— Что с ней? — спросил Шигоня, видя, как навалилась Соломония на свою соседку-держальницу.

— Сомлела, кажись, боярин.

— Ничего... Тем лучше...

— Вестимо! — отозвался и Даниил.— Господь видит сердца наши, во сне ли, наяву ли мы или в бесчувственном состоянии. Сердце чисто у

княгини. Бес вселился в нее и глаголал. А там, очнется-опамятуется,— и сама же порадуется чину своему ангельскому...

И обряд пошел своим чередом, быстро теперь, без помехи.

Через несколько минут из кельи уведена была, все так же без памяти, не великая княгиня московская Соломония, а инокиня, старица Софья, которую готовились везти в указанный ей Покровский девичий монастырь, что в Суздале.

Год 7038 (1530), 25 августа

Веселый, радостный перезвон так и стоит над Москвой златоглавою, словно в Светлое Христово воскресенье! Не успеют затихнуть колокола в одном месте, как в ином, тем на смену, начинают заливаться другие...

А самый большой, соборный «боец-колокол» без устали так и гудит, словно шмель между пчелами, пуская свою басовую ноту: дón-дон... дón-дон!

И, как на густом фоне, ярко вырезается в его гудении малиновый перезвон монастырских небольших, но серебристых колоколов: динь-диль-динь! Динь-диль-динь! Динь-диль, динь-диль, динь-диль-динь!

О чем говорят, о чем поют-заливаются колокола, эти спутники жизни людской, христианской?

Отчего толпы московского люда, хоть и не праздник, но запирают лавки, покидают торжища, бросают все дела и работы и бегут, валом валят туда, к Кремлю, из которого подан был первый сигнал к необычайному благовесту?..

Радость великая для Москвы, для всей земли русской: у государя, великого князя Василия, и молодой княгини Елены, роду Глинских, сын родился.

— Да сын ли? — спрашивает на бегу немолодой посадский другого из толпы, который тоже спешит к Кремлю, уже на ходу надевая на себя кафтан понаряднее.

— Сын, сын, Кириллыч! Уж так было сказано. Да нешто по звону не слышишь, что сын?.. Ведь вон и старец блаженный, юродивый Христа ради-для, прорицал нашей княгинюшке: «Родится у тея сын — Тит, широкий ум!..» Конечно! Сын!.. И Тита нынче память аккурат, угодника... 25 августа...

— Слава те, Господи. Не сиротеет земля!..

И оба бегут дальше, а сзади еще и еще катятся и набегают народные волны... И все не с горы, а в гору катятся... туда, к высоким теремам кремлевским.

— Слышь,— орет один парень другому,— поторапливай! Столы от князя ставить будут... Место бы получше захватить!..

И все бегут... И женщины, и дети, и старухи... Иные падают от усталости, но опять подымаются и мчатся вперед.

А из Москвы гонцы скачут... Боярам-наместникам, разным воеводам и тиунам весть подавать: кого следует, светских людей и пастырей духовных, на крестины звать... Радость великая совершилась! Долгожданный наследник дарован великому князю и всей земле. И попутные жители, селяне и горожане, мимо которых, проносясь, развещали желанную весть гонцы,— все, от радости, обнимались и целовались по-братски; без праздника — пир и праздник снаряжали. Всем близка была радость княжая, долгожданная.

Ведь шутка ли, четыре бесконечных года ждать пришлось.

Царь Василий — совсем угрюмый, словно ночь, темен ходил. И подумывать уже стал:

— Неужто права была Соломония? Ужели сбылось ее слово, проклятие страшное, какое в злобе она изрекла?! Ведь до чего озлилась баба!..

Вспомнил все Василий и вздохнул.

Третий год шел к концу после брака его второго, а все бездетной оставалась и вторая жена, Елена, новая княгиня великая.

Чего-чего ни делал Василий! И лекаря восточного звал... И к ворожеям, к наговорницам, презрев запрет христианский, ездил и ходил темной ночью государь, таясь от людей... Ничего не помогало.

Приходили к Елене знахари и знахарки много раз — и все говорили:

— Здорова княгиня. Будут чада у вас.

— Дай бог! Род мой без потомства не может остаться, пресечься не должен! Не хочу я! Не бывать этому!

И самые странные мысли порою западали в голову полубольному князю, который только и старался, что пободрее выглядеть при красавице — молодой жене.

Нередко с невольной завистью посматривал Василий на любимца, постельничего своего, на молодого богатыря, Ваньку Овчину, князя Телепнева-Оболенского. Кроткий, тихий и незлобивый, хотя и храбрый

в бою, Иван не одному князю был близок и мил. Отличала его и молодая великая княгиня. Но всегда держала себя, как и надо быть госпоже с любимым слугой мужниным. Овчина обожал молодую княгиню чисто, по-юношески, даже не скрывая этого. И был с нею так почтителен, как больше требовать нельзя.

Покачивая седеющей головой, высокий станом, но исхудалый от болезни, погнувшийся, Василий думал про себя:

— Да, вот была бы пара Елене! Не тебе, старому, чета. Да, не судил им Бог!

И даже тени досады или сомнения не шевелилось в сердце старого, «грозного», как порой прозывали его, великого князя.

Между тем внешние светлые зори сменялись знойными, темными летними ночами. Шли месяцы, годы. Три их ровно прошло. Все остается бездетной Елена. И стала она ездить по разным ключам чудотворным, воду пить... По местам святым, по монастырям, которые славились чудотворными иконами, мощами святых целителей или живыми молитвенниками-схимниками, известными жизнью строгой, святой и непорочной; всюду бывала. И молила там княгиня за себя и за мужа... Просила даровать ей чадо. Вклады богатые делала и поминки давала... нищих кормила, одежала.

В этих поездках порой сопровождал ее сам Василий, а за недосугом посылал провожатым кого-нибудь из приближенных, чаще всего — кроткого и преданного Овчину. Сестра же его была в приближении у Елены. Искренно расположенная к брату, Елена старалась приласкать и отличить во всем его сестру, Аграфену, жену боярина Челяднина.

Однажды государь сказал Елене:

— Что бы ты не съездила к святому Пафнутию? Далеконько, правда... Да ведь и матери ж моей, сказывают, святитель в таком деле помог.

— На край света поеду, лишь бы в угоду тебе, государь! — отозвалась Елена.

Сборы были недолгие. Несмотря на конец сентября, погода была чудная. И вскоре по дороге в Боровский Пафнутаев монастырь выступил длинный поезд, центром которого являлась колымага Елены.

Сам Василий, за недосугом, поехать не мог, а послал с ней князя Михаила Глинского, дядю ее, да Овчину Ивана с людьми.

Вся поездка прошла как миг один, как сон для княгини молодой.

Вокруг, не считая челяди, все люди близкие, родные, ее дядя, сестра Ивана Телепнева, Аграфена. Этикет дворский, все разряды и чины — забыты... Осеннее ясное небо над головой. Сжатые нивы желтеют по сторонам... Золотятся рощи березовые, покрытые пожелтелым осенним покровом. Дрожит багряными листьями осина по перелескам... Тянут стаи птиц на юг...

— Туда бы и мне за ними! — вырвалось как-то у княгини, заглядевшейся ввысь.— Они пролетят над Литвою далекой, над родиной моей...

— Да разве так уже плохо тебе с нами здесь, княгинюшка светлая? — отозвался Иван, ехавший поручь колымаги.

Елена взглянула на него ласково и промолвила:

— Нет. Сейчас — хорошо!

Прибыли, наконец, в обитель.

Приняли их честь честью. Княгиня с устатку отдохнуть пошла. Князь Глинский и Овчина, по зову настоятеля, явились на трапезу.

Тут, конечно, зашла речь о цели приезда великой княгини.

— Пафнутий — святитель, скоропомощник во всем. Он исполнит желание князево! — отозвался убежденным голосом настоятель, отец Илларий.

— Верим, отче!.. Все от Бога. Он все посылает,— подтвердил князь Михаил Львович Глинский.

— Да, бывает... Все от Бога! — кивая задумчиво головой, повторил игумен.

А Овчина сидел погруженный так глубоко в какие-то размышления, что и не слышал, как кончилась трапеза, и опомнился только, когда ему сказали, что молиться надо.

Настала ночь. Горячо помолившись, Елена с Аграфеной Челядниной сидела у окна отведенной ей кельи, выходявшего прямо в тенистый, чудный разделанный монастырский сад. И дивилась: отчего он так пуст? Отчего ни монахов, ни послушников не видно здесь в такую теплую, дивную осеннюю ночь. Но потом она вспомнила, что двух-трех часов не пройдет после минувшей долгой, утомительной церковной службы, и снова выйдут из своих келий разбуженные братья, и снова потянутся под звуки колокола в ту же душную церковь, на новое долгое, утомительное бдение... Но показалось ей, или кто-то ходит в саду?..

Нет, не ошиблась она. Овчина Иван, ее верный слуга, скользит тихо-

тихо по аллеям темного монастырского сада, желая охранять келью, где спит она, госпожа и повелительница его.

— Ты, Ваня? — спрашивает княгиня слугу.

— Княгинюшка светлая... Ты... не спишь?.. — смешавшись почему-то, еле выговорил этот могучий, статный витязь, сейчас робеющий, словно ребенок.

— Не сплю... Мои все заснули... А мы с Аграфеной вот сидим под окошечком, тоскуем. Подойди, покалякаем.

Он подошел... Поговорили немного. Там Аграфена и окно закрыла. Обе улеглись на покой.

Только Иван Овчина еще долго бродил по темному саду, не находя сна...

Утром княгиня Елена все святыни обошла монастырские, везде приложилась... Схимник, старец Савватий, благословил ее, просфорой одарил, напророчил много хорошего...

Весела и радостна приехала княгиня домой.

Все добрые приметы да пророчества ей были по пути.

Скоро и сам князь великий Василий Иванович просиял, порасцвел, словно моложе лет на тридцать стал... И 25 августа 1530 года весело зазвонили все колокола московские, оповещая мир о радости великокняжеской, о рождении первенца, нареченного по деду — Иваном, четвертым в роду князей московских.

Забыл государь всю немочь, за последнее время одолевшую его, и крамолу боярскую, которая нет-нет да и подымет голову, словно василиска-змея, из-под пяты... И все нелады и прорухи на литовской, на татарской границе... Все забыл, ходил светел, радостен... Богатыми дарами дарил кого только мог... Мамкой княжичу назначил все ту же Аграфену... Крестины справил — миру на удивленье. Быки целые жареные на площадях для народа стояли, вина и меду бочки были выкачены из погребов... А в княжеском дворце — дым коромыслом две недели шел...

Любимые монахи из Иосифовой Волоколамской обители Кассиан Босый и Даниил Переяславский были восприемниками княжича от купели, отцами его духовными назначены и приняли с рук на руки, на убрус белый от самого митрополита.

И не только люди, сама земля русская приняла, казалось, участие в великом событии: в позднюю осеннюю пору грозы пронесли над

Русью надо всей... Земля во многих местах колебалась именно в тот день и час, как родился великий княжич Иван Васильевич.

— Грозный будет волостель! — толковали при этом, покачивая головой, старые люди. А молодые веселились и радовались.

И немолчно звенел-разносился малиновый звон над Москвой златоглавою...

Год 7041 (1533) 22 сентября — 4 декабря

Тихим осенним утром 22 сентября выехал из Москвы государь великий князь Василий Иоаннович к Волоку-Ламскому, в гости к дворецкому своему Тверскому и Волотскому, к Шигоне, да в монастыри заглянуть в попутные, да поохотиться.

Чует Василий, что засиделся в душных покоях кремлевских, теремных, натрудил голову думами государскими, счетами да расчетами, заботами хозяйственными и семейными. Николка Люев да Феофил-фрязин, оба лекаря царских, одно говорят:

— Обветриться бы надо, государь...

Кроме челяди охотничей, ловчих, сокольничих, псарей и выжлятников, много бояр ближних и воевод поехало на охоту с царем.

И оба брата царские тут же: Андрей да Юрий Ивановичи, хотя последнему что-то не доверяет старший брат.

Из бояр — Иван Васильевич Шуйский, Димитрий Федорович Бельский, князь Михайло Львович Глинский и многие другие, блестящей вереницей, кто верхом, кто в колымагах и каптанках, едут в царском поезде.

Из молодых бояр здесь скачут на аргамаках, кроме неизменного Овчины, два князя Димитрия: Курлятев и Палецкий; Кубенский князь Иван; Федор Мстиславский, племянник государя, и многие другие. Иван Юрьевич Шигоня, с братом Михайлой, тоже в поезде и прихватили трех дьяков про всякий случай: Цыплятева Елизара, Колтыря Ракова и Афанасия Курицына, кроме двух «ближних» дьяков царских Григория Никитича Путятина и Федора Мишурина и стряпчего Якова Мансурова. Да всех не перечесать.

Государыня Елена с трехлетним Ваней и годовалым Юрой в крытом возке большом едут. Боярыни ближние с ними: Анастасия

Мстиславская, Елена да Аграфена Челяднины, золовка да невестка; Федосья Шигонина, Аграфена Шуйская, сама княгиня Анна Глинская, матушка Елены. И веселы, рады все, что из душных светлиц своих вырвались: так и стрекочут всю дорогу.

Погостив деньков пять у Троицы, к Волоку тронулись. Государь — все верхом больше. А на левом бедре у него давно уже зыблется опухоль подкожная, холодная пока, не болезненная. И вот до села Озерецкого еще не доехали, как беда стряслась. Седлом, что ли, растравило болячку, но появилось в середине у нее пятнышко небольшое, багровое. Болеть — не болит, но весь словно разбитым стал чувствовать себя Василий. Миновали Нахабино, Покровское-Фунниково. Царь уж, гляди, и с коня слез, с царицей в колымаге едет.

В Покровском Покров Богородицы справляли, задержались дня на три. На Волок-Ламский совсем нездоров приехал Василий. В пятницу еле сидел на пиру у Шигони. В субботу, 4-го, еле-еле и в мыльню сходил, помылся, попарился: не легче ли станет? Стол уж в постельных хороммах накрыли больному царю. За два денька отлежался, поправился. Чудное выпало утро во вторник. Не выдержал Василий.

— Федю Нагова позвать мне! Бориса Васильева Дятлова! Ловчим велеть изготовиться. В поле сегодня хочу пуститься!..

Лекаря царские, оба,— так руками и всплеснули.

— Государь!..— начал было Люев.

— Ладно, знаю... Лучше мне сейчас! А погода, гляди, какова? Без лекарства поправлюсь, гляди. Вам бы небось не хотелось? На что вы мне оба тогда?.. Ну, не мешайте...

Подали коней, загрели рога, и пустились в поле все, на Колп, на село, где охота богатая.

— Что, государь, али не можется? — спросил у Василия князь Мстиславский, скакавший за дядею, видя, как морщится царь на скаку.

— Что-то оно не того. А терпеть все же можно...

— А не вернуться ли нам на Волок, государь?

— Ну вот, была нужда! — ответил Василий.— Стоило из ворот выехать, чтоб от угла да назад повертать. Хорошо полеванье! Ехали ни по што, приехали ни с чем? Таков ли я? Сам знаешь. Что в большом, что в малом — люблю дело до конца довести... Да и хворь-то пустая: нога болит! Давно она у меня, лихо бы ей,— знать себя давала. Подурит да и перестанет. Ведь своя, не удельная! — пошутил князь.

И поехали дальше. Любит на кречетов царь поглядеть.

К полудню в Колп все вернулись. Столы уже накрыты. Почти и есть царь не стал. А все же дал знать брату Андрею, чтобы поспешал и тот сюда. После обеда псовая охота началась.

Трех верст от Колпа не отъехали, с царем что-то неладное случилось.

— Федя... Андрей! — громко стал звать вдруг Василий племянника и брата.

Напуганные, те подскакали вплотную и еле поддержали Василия, который в беспамятстве уже валился с лошади.

На землю положили попону, сверху покрыли своими кафтанами, уложили бережно Василия.

— Княже, что с тобой?.. — тревожно спросил его Мстиславский, как только сомлевший князь раскрыл глаза.

— Сам не знаю... что-то сердце замутилось... И в ногу, в недужную, ударило... Погляди: что с ней?.. Стой... Не трожь... Больно! — вдруг крикнул он, едва Мстиславский взялся за сапог, желая разуть князя.

— Как же быть, княже?.. Сам велишь поглядеть...

— Да, правда. Ну, делай, как знаешь. Потерплю...

Но Мстиславский догадался: обнажил свой остро отточенный охотничий нож, запустил конец его осторожно за голенище княжего сапога, провел книзу, распорол кожу — и сапог сам свалился с больной, распухшей и посинелой ноги.

Всех сразу так и поразили тяжелый запах, пахнувший им в лицо.

Взрезав также мехом подбитый чулок, надетый на Василье, разрезав платье исподнее, Мстиславский с ужасом увидел, что опухоль на бедре, утром еще покрытая воспаленной кожей, теперь прорвалась в середине, где видно небольшую, словно железом каленым выжженную в теле, круглую язвочку. Скрывая охвативший его ужас, Мстиславский быстро снова окутал кое-как ногу князя от свежего воздуха и, поднявшись немного с земли, но не вставая совсем, сказал:

— Оно пустое, княже: прорвало там... А все бы домой тебе скорей поспешить. Да не к Волоку, а на Москву... Залечить надо, худа бы не было... Больные ведь давно ноги твои.

— Домой?.. К Волоку — можно, пожалуй... Только как же?.. Трудно мне... на коня сесть... Как быть?..

— Ну, вот пустое... Сейчас все наладим!..

И, правда, пяти минут не прошло, как на древках двух рогатин было прикреплено рядом хорошее, которое нашлось в тороках, на рядом положены попоны мягкие, перекрыты изрядно,— князя уложили осторожно на эти широкие, удобные носилки, и весь поезд быстро двинулся в путь, стараясь в то же время, чтобы не потревожить как-нибудь больного государя.

Вершники и доезжачие посменно — четверо сразу — носилки несли так бережно, ступали так легко и невалко, что Василий, едва миновала его дурнота, даже заснул, убаюканный колыханьем, словно младенец в люльке.

В испуге навстречу носилкам вышла Елена.

— Что было? Что с государем случилось?..

— Пустое, голубица моя! — предупреждая других, заговорил быстро Василий.— Ногу, вишь, ушиб, в яму остутился с конем... Жилу растянул... Через день все пройдет.

Успокоилась Елена. Василия в его опочивальню отнесли. Осмотрели врачи язву вечером, ничего не сказали.

— Утром, при свете поглядим, государь.

Утром долго глядели, рассматривали: и Люев, и Феофил.

Лица вытянутые у обоих.

— Плохо, что ли? Правду говорите.

— Плохо — нельзя сказать. Долго затянется.

— Что же делать? Недельки через три в Москву надо ворочаться. Хоть к той поре оздороветь бы.

Качают головами...

— Ну, четыре, пять недель...

Молчат и головами качают...

— А! Домовой бы вас придушил, леший бы унес с глаз моих и навечно! Онемели вы обои или злить меня сговорились? Так глядите!..

И он протянул руку за посохом, часто гулявшим по спине не только у лекарей-басурманов, но и у первых бояр и князей...

— Государь, не гневись... Послушай! — заговорил более смелый Люев.— Мудреный ты вопрос задал. Мы знаем, что болезнь вот, как твоя, и на полгода затянуться может, и в месяц ее выгнать можно... А если мы скажем, срок назначим и ошибемся, ты же нам верить перестанешь. Без веры куда трудней будет лечить тебя... Сам ведаешь...

— Сам понимаю я, что шуты вы гороховые, а не лекаря ученые. Попам вера нужна! А с вас будет и знания... Ну, да шут с вами... и то, обозлить вас, так вы мне такого поднесете, что кишки все вымотаете!.. Тьфу! И я, дурак, связался с басурманами, да еще с лекарями. Вон у нас: лекарь да аптекарь — хитрей цыгана да жида почитаются. Нешто вы правду скажете? Лечите уж, как знаете сами... Не обижу...

— А еще, государь: княгиню-государыню тебе лучше на Москву отправить вперед... Ты заметил: дух нехороший от язвы. И все тяжелее он будет... пока мы не вылечим тебя. Хорошо ли, чтобы государыня... С царевичами?.. Лучше, право, не быть им при тебе...

— Сам понимаю... Сам о том думал...

И, подготовив понемногу Елену, он через две недели отослал ее с детьми на Москву в сопровождении части своей свиты...

К этому времени язва, раньше сухая, стала выделять большие ткани... Окружность ее росла хотя медленно, но неудержимо.

Больше и спрашивать не стал Василий, опасно ли он болен. Аппетит пропал... Силы тают с каждым днем. А нелюбимый брат Юрий так и вьется у постели.

Не выдержал Василий:

— Ты бы, брате, к Дмитрову, к уделу своему, поспешал. Давно, гляди, не был там...

— Да я так думал, брат-государь, болен ты...

— Что ж, ты лечить меня станешь али залечивать? Так вон у меня своих таких двое! — указал на лекарей государь.— Морить куды горазды!..

— Шутить все изволишь, брате-государь... Ин не стану супротивничать, поеду, коли не хочешь видеть меня. Благослови, брат-государь, в путь-дорогу.

— Бог благословит.

Юрий уехал. Вдохнул свободней Василий.

Сейчас же тайком, чтобы жена не знала даже, послал Мансурова и Путьятина (Меньшого) в Москву.

— Вот ключи... В подвале, в Архангельском соборе, сундук железный... Протопоп Иван знает. А в сундуке — ларец... А в ларце — духовные грамоты отца и деда нашего... Привезите... Видно, пора и свою писать, как по старине полагается...

Когда привезли грамоты, долго толковал со своими советниками

тайными Василий. Была написана и его духовная. Подписал ее царь. Пришлось звать и свидетелей для подписки. Бельский, Шигоня, Шуйский и Кубенский подписались и крест целовали на том, что до сроку — никому ни слова не проронят о грамоте.

14 ноября в тревоге, ночью, заглянул к больному другой брат, Андрей, с которым всегда был дружен Василий.

— Не спишь, государь? Слышу: читают тебе псалмы божественные... Я и заглянул...

— Рад, рад... Не спится теперь по ночам. Днем все так вот и спал бы. А ночью душно, тяжело. Грудь совсем заложило... Плохо лечат, проклятые...

— А ты бы других...

— И то... Вон за гетманом Яном послал. Он — казак. А у них тайные есть зелья, разные... Пусть пользует. Он много народу на Москве выпользовал. Да что ты такой, словно напуган?

— Чудо творится, брате... Дождь огненный с неба.

— Что ты?.. Где? В какой стороне? Как бы лесов да деревень не пожгло... Убытки, гляди, будут какие?!

— Нет, брат-государь, не то чтобы огонь простой... Звезды с неба так и сыплются...

— А! Ну это не опасно... И много?

— Видимо-невидимо. Да вот взгляни, пожалуй, государь.

И Андрей поднял занавесь у окна, оттолкнул тяжелый ставень и указал больному брату рукой на темное, синее, ночное небо.

Было новолуние, и звезды, не затемняемые месяцем, ярко сияли, переливаясь мерцающим блеском в прохладном, влажном воздухе. Полевой от окна, в южной части неба происходило нечто удивительное. Падали звезды. Не изредка, как это бывает всегда, а блестящим частым огненным дождем...

В глазах начинало рябить и пестреть, если долго не отрываясь глядеть на восхитительное зрелище...

Долго смотрел Василий, то прищуривая, то снова широко раскрывая глаза.

— Пятница нынче?..

— Так, государь.

— Завтра Димитриевская суббота... Понял, понял...

— Что понял, брат-государь?

— Великая звезда скоро с земной вершины скатится... Туда, в бездны... Помилуй мя, Господи, по великой милости Твоей...

— Э, брат-государь, пустое! Оздоровеешь скоро, вот увидишь.

— Ладно. И то хорошо. Прикрой ставень... Полы-то спусти

оконные... Зябну я все... Ну, с Богом, ступай спать, Андрейко. Може, и я усну.

И Андрей вышел из опочивальни...

Словно напороочил облегчение брату Андрей.

Наутро громадный стержень вышел из раны у Василия. Князь словно ожил, повеселел, стал надеяться на выздоровление. Лекарь-казак, гетман Ян, приехав, мазями своими и опухоль согнал с больной ноги. Не лежит она больше такая неподвижная, огромная, как прежде, словно бревно, мешая дышать, не давая сделать ни малейшего движения. Глубокое воспаление, поразившее ткани, разрешилось теперь; но части распада остались в ране и вызвали новую беду. Появился антонов огонь... Опухоль, еще не совсем удаленная мазями, медленно стала распадаться. Язва зияет не маленьким устьем, как раньше, а широкая, черная, страшная... Настоящая «гагрин» (гангрена) с омертвелыми краями, покрытыми серым налетом. И воздух в покоях наполнен от нее тяжелым запахом тления!..

— На Москву, на Москву скорее! — молит теперь Василий.

Ясно: спасенья нет!..

Медленно движется печальный поезд. Василий в каптанке едет, уложенный на мягкой постели. Повернуться он сам не может. Курлятев и Палецкий едут с государем, помогают ему.

Везде по пути рыдают люди, узнав, кто этот умирающий боярин, которого везут на Москву.

Скорей бы можно добраться туда, да приходится остановки очень частые и долгие делать. Дороги еще не установились. Как осторожно ни едут кони, а все потряхивает больного. И он мучительно страдает.

Только 21 ноября к Воробьевым горам дотащились. Здесь два дня пришлось переждать. Митрополит Даниил к государю пожаловал, помолиться за его здоровье и дать свое благословение... И владыка Вассиан Топорков Коломенский, друг царя... И попы, и бояре: Шуйские, Воронцов Михаил, Петр Головин, казначей верный царский... Слезы, рыдания раздаются... Лекаря всех попросили уйти и не тревожить больного.

Но сам Василий удержал главных бояр:

— Мост на реке строить велите... Туда вот, прямо у спуска с гор с Воробьевых... К завтраму ночью чтобы и готов был... Ночью я в Кремль проеду, чтобы не знал никто... Народу тьма кругом, послы у нас

ждут чужеземные... Негоже будет, если днем я поплетуся... Дела у нас теперь с чужими государями немалые... Посланцы-то ихние, поганцы, — что воронье, сразу учуют: плох старый государь! Ваня мой мал... И подумают: самая пора пришла поживиться на Руси... Сейчас своим государям отпишут: «Собирайте ратных людей. Помирает старый государь. Легко можно у юного малолетка и у вдовицы государыни из вотчины чего оттягать!..» Знаю я их... Да и свои люди не должны в гнусе таком видеть меня... Так пригоняйте, чтобы нам в глухую ночь, в самую полночь Москву миновать, до Кремля доехать...

Закипела работа на реке. Лед еще не окреп. Рубят его, наскоро сваи, как раз против спуска с горы, вбивают в дно речное, балки кладут, доски стелют... Хоть и не к субботе ночью, но к воскресенью на рассвете — мост был готов.

— Так с Богом везите меня! — приказал Василий, когда ему доложили о том.

Скользит с горы тяжелая каптанка, влекомая гусем восьмеркой крупных, сытых коней, по два в ряд. Передовые вершники туго держат вожжи. Рынды царские, молодые парни, боярские дети и княжата голоусые, по десять человек с каждой стороны у каптанки идут, поддерживают в опасных местах, на поворотах и косогорах. Двое на передке каптанки сели на всякий случай. Заартачится первая пара коней — удержать бы их было кому, кроме вершников...

Все шибче и шибче по раскату скользят полозья, как ни сдерживают возницы могучих лошадей. Те же совсем на задние ноги осели, хвостами снег метут... фыркают, головами мотают. Дивятся, что им ходу не дают... Вот последний перевал. Там и на мост надо въезжать... Дорога здесь поровнее... Шибче пошли кони, завизжали, заскрипели полозья по цельному, плотному снегу...

Сразу первых четыре могучих коня-санника на мост вбежали, копытами грянули раз, другой... и только эти первые две пары оказались на мосту, подальше от берега, зашаталось все под ними... Одна свая наклонилась, другая за ней...

Наспех строенный, мост так и стал валиться на лед, увлекая царских лошадей за собой... А за лошадыми — и сани царские мчатся туда же, в хаос обломков, на лед, который трещит и ломается под ударами копыт тонущих коней, опутанных гужами и постромками... Вот уж не больше полуаршина отделяет тяжелый возок от воды...

В это самое мгновение двое рынд, с обеих сторон, вынув свои ножи, сумели обрезать гужи у задней пары коней, а остальная молодежь, напрягая последние силы, прямо на руках успела поднять и остановить тяжелый возок, нависнувший слегка над водою... Василий видел всю опасность, но не растерялся.

Он уж давно готов умереть. А все-таки вздох облегчения вырвался у него, когда дверца раскрылась и Курлятев, выглянув наружу, сказал:

— Все слава Богу, государь... Только кони утонули... Не все... Четверо вон убежали... А четверо под воду пошли.

— Вижу, вижу... Спаси вас Бог, детушки, паренечки, за помощь, да службу верную... Тебе, Курбский, тебе, Шереметев. Всем вам... Не забуду... А теперь где бы нам перебыть, пока рассудим, что теперь начать?..

— Гляди, государь: монастырек невелик виден... Туда не снести ль тебя?..

— Ин, ладно... А кто мост-то строил такой надежный для государя своего?

— Да уж не гневайся... Наспех... Приказчики городовые: Митька Волынский да татарин с ним, Ассей Хозников... Взыщется с них, государь, строго взыщется...

— Нет, нет, не надо... Оно всегда так: скоро, да неспоро!.. Мороз, где тут мосты мостить... Чай, руки зябли на воде... Столбы вбивать... Доски стлать оледенелые... Пожури от меня обоих... А наказывать не смей. Бог спас, Милосердный. Будем же и мы милосердны...

— Слушаю, государь! — отвечает Шигоня, внимая непривычно кротким речам господина...

Царя осторожно, на постели на его, к монастырю недалекому, скромному так на руках рынды и понесли...

С самого утра плохо больному Василию. И тряска в пути, и волнение тяжелое унесли остатки сил этого могучего всю свою жизнь человека.

— Как можешь, княже? — осторожно подойдя к ложу, на котором лежит, полузакрыв глаза, великий князь Василий Иванович, спрашивает ближний его боярин и давний друг и тезка, князь Образцов — Симский Хабар.

Зимний, короткий, но ясный и морозный день совсем уж догорел.

В маленькое, слюдой затянутое оконце кельи подгородного

Данилова монастыря, где сейчас лежит Василий, глядит пурпурной полосой потухающий закат.

Неугасимые лампы теплятся у иконы... Светец на столе не зажжен еще. В покое, низеньком, тесном и бедно убранном, царит полумрак. Пахнет особенно, по-монастырски: сушеными травами, росным ладаном, лампадным маслом... Но все перебивает тяжелый запах, который несется от лавки, застланной «тюшаком» (тюфяком).

Сверх тюшака перинка положена, перекрыта белым, чистым холстом. На мягких подушках лежит здесь больной Василий Иванович, царь московский, первый принявший этот титул.

Поверх одеяла теплого шубой на лисьих черевах накрыт. А все знобит больного. Мысли то просветлеют, то замутятся, словно забытье находит на него.

Он лежит в одежде. Только исподнее платье на левой ноге разрезано. Обнаженная больная нога обвита повязками.

Запах тления от язвы, зловещий этот запах растет все и растет. Теперь, сдается, он проникает даже сквозь деревянные, ветхие стены скитских построек и отравляет кругом чистый, морозный воздух лесной.

Сам больной задыхается от этого «тяжкого духа».

Лицо у него осунулось, помертвело, приняло совершенно землистый вид, губы посинели... Десны вздулись, и зубы словно готовы все выпасть из своих гнезд.

— Страшен я? Скажи, Ваня,— обратился он еще днем, задыхаясь от усилий, к Мстиславскому.

— Нет, княже. Известно: болен человек. А болезнь не красит. Домой бы тебе скорей. Дома и зелья добрые найдутся, и все... Дома, княже, знаешь: стены помогают...

— Да... Домой, домой... Только ночью... Как я сказал... Чтобы Ваня, сын, не видал... Испугается отца... Мне больно станет.

— Вестимо, государь! — ответил Мстиславский и вышел распорядиться, чтобы к ночи носильщики были... и гонцов послал к митрополиту, к Елене.

Люев и Феофил между тем заявили шепотом боярину, что очень плохо царю... Гляди, до утра не доживет...

— Так надобно звать всех навстречу князю... Сыну пусть хотя даст свое благословение... Разве же можно?

И шлет во все стороны снова гонцами вершников и детей боярских

князь Мстиславский.

А Хабар Симский, заметив, что Василий смежил глаза и затих совсем, так и встревожился... Неужто умирает?.. Нет, вот снова из-под тяжелых, медленно поднявшихся ресниц и век проглянул тусклый, свинцовый взгляд недужного царя.

И князь Симский вторично тихонько окликнул царя:

— Как можется, царь-государь? Не лучше ли тебе?..

— Лучше? — вдруг раскрыв широко полузакрытые до этого глаза, переспросил Василий.— Верно, друже, скоро полегчает мне. Совсем.

— Что ты, государь? С чего взял?.. Тебе ли, при мощи твоей и годах непреклонных, язвы ножной не снести! — стараясь ободрить и успокоить больного, убедительно заговорил воевода.

— Нет... молчи... Слушай, что скажу... Трудно ведь и... говорить-то мне, не то что спорить... Прошли споры мои с вами... с боярами... всю ведь жизнь... как отец мой еще наказывал, не давал я воли вам. А теперь — буде... Ныне отпускаеши...

— Да что ты, княже... И не думай про...

— Говорю — молчи... слушай лучше... Сейчас видение мне было...

— Господи, прости и помилуй!..— неожиданно вздрогнув, произнес Хабар и осенил себя широким крестом, чуя, что мороз пробежал у него от затылка змеей по спине.— Видение, княже?..

— Да... Удостоил Господь... Вы тут стоите да шепчетесь с лекарями... А я все слышу... Все ваши речи... И вижу, хоть глаза совсем прикрыты у меня,— а вижу, как в дверь кельи, вот как она заперта сейчас, ее не раскрываяючи, прошли два инока лучезарных. Только без мантий... в скуфейках домашних... И подошли к ложу... И узнал я их... святителей присноблаженных: Алексия да Петра... И говорит один другому: «Час, что ли?..» А другой отвечает: «Скоро! — говорит.— Прослушает десятую заутреню — и час тогда пробьет рабу Божьему, князю Василию Иоанновичу... И многогрешному... и прапрославленному... И все сие — на детях его... Сказано бо есть: до седьмого колена...» Глядь — и растаяли в воздухе... И нет ничего... А ты тут пристаешь все: как мне можется? Да легче ли? Слышал: одиннадцатой заутрени не услышать уж мне... Готовиться надо... Шли еще гонца, следом за Мстиславским... Пусть уж и сын встречает... Не хотелось мне пугать младенца... Да пусть уж! Теперь все равно... как мертвый я...

— Княже, родимый... Государь милостивый... Греза-то была сонная... Что к сердцу брать? А потом, и так скажем: я тоже Василий Иванович, хошь и негоже мне с государевым именем равняться. Может, мне и сулили святители... И скоро кончина моя, а не твоя. Я же хошь и немного, а постарше тебя...

— Да и поглупее, вот вижу я...— вспыхнул, несмотря на страдания, Василий.— В самом деле, не вздумал ли равняться со мной? Как же: боярин ближний! Да нешто святители придут блаженные о твоей смерти пророчить? Довольно с тебя будет и иной приметы какой, полегче. Да не толкуй зря... Когда можем мы к городу dospеть?

— Да с тобой, княже, часа через полтретья к Боровицким подойдем...

— Ну, так берите меня, несите... Поторапливайтесь... много еще перед смертным часом поговорить да наладить надо...

И, снова закрыв глаза, Василий умолк.

А новый гонец-вершник уж сломя голову скакал на лучшем аргамаке в Москву упредить обо всем великую княгиню Елену и митрополита Даниила.

Час спустя из ворот монастыря показался весь княжеский поезд, среди которого четверо здоровых парней бережно несли широкие мягкие носилки с великим князем и царем всея Руси, лежащим в полном забытии. Медленно подвигалось печальное шествие в печальных сумерках зимнего дня.

Протяжно, глухо с другой стороны Кремля в морозном воздухе прозвучало и донеслось до Боровицких ворот девять ударов башенного часового колокола на Фроловских воротах, что ныне Спасские.

В это самое время шествие с больным князем миновало неширокий в этом месте пригородный посад и подошло к Боровицкой башне, ворота которой, несмотря на такой неурочный час, были раскрыты. Подъемный мост тоже опущен.

Всадники с факелами, составляющие свиту больного князя, идут тихо, без говора, соразмеряя ход коней с шагом носильщиков, несущих князя; но обитатели посада, собравшиеся было уже на покой, услышали необычный шум, легкий лязг оружия, мерный топот десятка-другого конских копыт по мерзлomu насту зимнего проезжего пути.

Наскоро накинув тулупы, иные отмыкают калитки и выбегают на улицу поглядеть: что случилось? Кое-где выходят на улицу оконца изб

и домов, затянутые пузырем в жилищах победнее или слюдою у тех, кто богаче. Жадным, пытливым взором обладатели подобных оконцев приникают к этим отдушинам на свет Божий, теперь полузанесенным снегом, полуокованным льдом. И, напряженно вглядываясь в ночную тьму, стараются разгадать напуганные посадские: что значит этот кровавый, зловещий свет факелов, которые медленно движутся по дороге вместе с тенями какой-то многочисленной толпы конных и пеших людей?.. Почему ночью, в такое непогодное, позднее, необычное время кто-то приближается к «городским», кремлевским воротам. Ведь в крепость, какую служит для Москвы Кремль, кроме великого князя, святителя-митрополита да семьи княжой, и не пустят ночью никого. Кто же эти ночные странники?

И, строя тысячи самых фантастических предположений, долго не может уснуть в той окрестности встревоженный посадский люд. И никто не решился, конечно, поближе подойти, поглядеть и разузнать: в чем дело? Слишком тревожное время переживает Русь. Каждый боится за себя и дрожит за свою шкуру.

У самых ворот Боровицких, где широкое место вдоль стены и дальше было совсем не заселено, пустовало на случай вражеского нападения,— здесь тоже виднеются багровые языки дымных, ветром колеблемых факелов.

Великая княгиня там с сыном, с митрополитом, с ближними своими ждет больного государя.

У княгини глаза распухли от слез, но она крепится, опираясь на руку преданной Аграфены Челядниной, приближенной своей наперсницы и мамки ее первенца, княжича Ивана.

Самого княжича, укутанного в теплую женскую шубейку, спящего, несмотря на мороз, держит на руках мощный красавец, брат Аграфенин, князь Иван Овчина роду Телепневых-Оболенских. Тут же и Шигоня, и Михаил Глинский, дядя государыни, и Головины: Иван да Димитрий Владимировичи, казначеи большой казны государевой, и многие другие.

Тихо, печально стоят, ждут, пока приблизятся к ним подходящие к стенам городским огни и люди княжеского поезда.

Вот круг света от факелов, которые несут за больным, яркий этот круг слился на грани своей с кругом света, порождаемого факелами, которые держат в руках провожатые Елены. В сторону тихо отъезжают словно подплывающие в полутьме всадники, едущие впереди носилок;